

Леонид МАРЯГИН

Белый билет

Фрагмент непоставленного сценария



Сценарий "Белый билет" написан совместно с Д.Василиу.

В тусклой подсветке рентгена мальчишеский профиль Бориса казался взрослым.

— Левее. Еще левее! Теперь повернитесь. Глубоко вдохните.

Борис скованно выполнял команды — слишком уж долго с ним возился рентгенолог.

— Ближе ко мне. Поднимите руки. Задержите дыхание.

От волнения Борису стало казаться, что он слышит стук собственного сердца — глухой и прерывистый.

Вспыхнул свет, врач сдвинул очки на лоб и сказал:

— Все. Вы свободны.

"Снят с учета", — твердым почерком вписал в белый картонный бланк военком — молодой капитан с темным, навсегда

прожженным пороховой гарью лицом. Он глянул на Бориса и сочувственно пожал плечами:

— Порок сердца. С таким диагнозом не то что в летное училище — в пехоту

нельзя.

Парень растерянно мялся у стола — долговязый, нескладный, выросший из одежды:

— Но как же, товарищ капитан? Это не может быть. У меня же разряд по гимнастике! У них — ошибка. Не-е — давайте перекомиссию!

— Не надо меня уговаривать, я не де-вушка. Нельзя — значит нельзя.

Капитан полез в стол, вынул печатку, привычно дохнул на нее и прижал к твердой, белой картонке, на которой были выведены два слова, так жестко и бесповоротно перечеркнувшее все, о чем мечтал Борис.

— А куда можно с этим "белым билетом"? — он с преувеличенной аккуратностью, стараясь скрыть дрожь пальцев, сложил бланк пополам. — На свалку?

Военком резко задвинул ящик, тяжело встал и уперся в Бориса недобрим, еще неотвыкшим целиться взглядом:

— Ну, в мои обязанности не входит тебе сопли подтирать. Спортсмен-рекордсмен!

В каждом городе есть свой "Художественный кинотеатр". Был он и в Покровске. С джазом! Эстражник, подражая Борису Ренскому, подтанцовывал с куплетом:

Встретить милиционера — это не искусство,

Встретить днем его у сквера — тоже не искусство,

Встретить с дамой на прогулке — явно не искусство,

А встретить ночью в переулке — вот это вот искусство!

Куплеты имели успех. Публика в фойе громко хохотала, а Борис — ну просто заходилась от смеха.

Люся, недоумевая, с чего ему так веселиться, даже переглянулась с Гошкой,

но Борис этого не заметил.

— Ну, отрывает! — он восторженно подтолкнул Гошку локтем.

— Слыхали? — выкрикивал куплетист.

— Слыхали! — хором отвечал джаз.

— Видали? Видали! Читали? Читали!

— Ну, как это нравится вам?! — крикнул в публику эстражник и ускакал под гром аплодисментов, провожаемый сатирическим кудахтаньем саксофона.

— Ну, как это нравится вам? — с балагурской усмешкой повторил Борис, повернувшись к своим.

— А ты, вообще, молоток, — пробасил Гошка, от неловкости сорвавшись на петуха. Кашлянул и добавил. — Я боялся, ты раскиснешь после военкомата.

— А чего киснуть, правда, Люсь? — бодро вскинулся Борис. — Гошка будет летать над нами в Москву — на воздушные парады, а мы — он жестом объединил себя с Люсей, — будем из нашего двора махать ему лапками. Все выше, и выше, и выше! — пропел он, опять же подражая эстраднику.

На него зашикали, так как местная солистка — в жакете с огромными накладными плечами — уже соперничала с лирикой Шульженко.

Но Борис не унимался и громко шептал Гошке в ухо:

— Мы тебя будем поддерживать с земли. Морально.

Тот умоляюще взглянул на Люсю — и она, поняв, едва заметным кивком отпустила его.

— Я за мороженым, — пробормотал Гошка, ни к кому конкретно не обращаясь, и исчез в толпе.

Теперь Люся подняла глаза. Отвела ладошкой белокурую прядь со лба и, глубоко вдохнув, сказала:

— Знаешь, Боря... Мы с Гошей решили расписаться.

Кинотеатр хохотал над веселой гали-



матеей, клубившейся на экране. Только Борис сидел с застывшим, ошеломленным лицом, так и не пришедший в себя после Люськиного признания.

Впрочем, и ей с Гошкой сейчас тоже было не до смеха.

Зато на вокзале, когда Бориса не было рядом и не надо было изображать сочувствие, Люся не сдерживала радости — прямо захлебывалась ею. Запрокинув белокурую головку, сверкая рядочками фарфоровых зубок, она смеялась весело и звонко. Даже издали, сквозь шум, Борис отчетливо слышал этот живой колокольчик — и у него болью сжимало сердце.

Он стоял далеко от вагона, спрятавшись за столбом. Отсюда, сквозь толкотню, ему была видна вся компания — Гошка, его мать, еще какая-то женщина — молодая, в ярком платке.

Гошка — в новой шинели с курсантскими погонами — очень важничал. Закурил, небрежно помахал своим дружкам-курсантам у соседнего вагона. Не

Видно, что-то было в его лице такое, что и Гошка напрягся, напустился, стал чуть не в боксерскую стойку.

Борис подошел к нему вплотную, будто не видя остальных. Постоял несколько секунд, смиряя себя. И сняв с плеча, протянул Гошке кожаный офицерский планшет на тонком ремешке:

— На, держи. На память.

Гошка растерялся.

— На память? — с какой-то глуповатой ухмылкой переспросил он. — О чем?

— О дружбе, — с гордой и мстительной усмешкой отчеканил Борис.

Он наслаждался их растерянностью и, хоть не смотрел на Люсю, чувствовал, что ей не по себе.

— Ну, спасибо, — Гошка, не поднимая глаз, вертел планшетку. — Царский подарок.

— А мы думали, ты не придешь, — оправившись, затараторила из-за его плеча Люся. — А ты взял и пришел — вот молодец.

стесняясь матери, по-взрослому обнял Люсю. А она все хохотала счастливо и болтала что-то веселое.

Борис подобрался, как перед прыжком в ледяную воду и заставил себя выйти из своего укрытия. Медленно, твердыми шагами пошел к вагону.

Первой его заметила Люся — растерянно смолкла и инстинктивно отступила назад, за Гошку.

Та, молодая, в ярком платке, тоже глянула удивленно, даже испуганно.

Борис узнал в ней ту, возле вагона.

— Я сестра Гоши, — пояснила она и, встретив его отчужденно-настороженный взгляд, торопливо добавила: — он у нас насчет писем не очень, а мать переживать будет. Так вот, если он вам

первому напишет.

— Вряд ли, — угрюмо перебил Борис и отвернулся.

Она помолчала.

— Ну все-таки, — сказала после паузы, с тихим упорством. И достав блокнотик, черкнула в нем. — Возьмите мой адрес. На всякий случай.

Борис неприязненно покосился на протянутый ему листок.

— Малый Артюхинский, 17, это на Студенцах. Спросите Тасю.

Она улыбнулась. Не вообще улыбнулась, а именно ему, Борису. Как-то так особенно улыбнулась — с затаенной добротой, с душевной лаской. Будто угадала его боль и хотела хоть на миг унять ее.

Впрочем, Борис тут же забыл и о ней, и о ее улыбке. И как только она отошла, бросил бумажку с адресом вниз, на пути.

Поезд ушел, осталась пустота. Жить было нечем.

Вот этого и ждал Борис — здорово получилось! Не глянув в ее сторону, даже не покосившись, он слегка двинул Гошку по плечу:

— Бывай, — и зашагал прочь.

— Догони его, Гоша, — Люсины фарфоровые зубки блеснули злым оскалом. — Отдай ему эту сумку.

— Помолчи, Люся, — досадливо оборвал он.

Борис отшагал недалеко. На переходном мосту над путями ноги как приросли. Стоял, вцепившись в перила, и смотрел на уходящий поезд.

Женщина в ярком платке прошла в потоке людей, за его спиной. Она оглянулась, остановилась и подошла.

— Извините, я попросить хотела, — голос у нее был низкий, чуть хрипловатый.

Борис узнал в ней ту, возле вагона.

— Я сестра Гоши, — пояснила она и, встретив его отчужденно-настороженный взгляд, торопливо добавила: — он у нас насчет писем не очень, а мать переживать будет. Так вот, если он вам

первому напишет.

— Вряд ли, — угрюмо перебил Борис и отвернулся.

Она помолчала.

— Ну все-таки, — сказала после паузы, с тихим упорством. И достав блокнотик, черкнула в нем. — Возьмите мой адрес. На всякий случай.

Борис неприязненно покосился на протянутый ему листок.

— Малый Артюхинский, 17, это на Студенцах. Спросите Тасю.

Она улыбнулась. Не вообще улыбнулась, а именно ему, Борису. Как-то так особенно улыбнулась — с затаенной добротой, с душевной лаской. Будто угадала его боль и хотела хоть на миг унять ее.

Впрочем, Борис тут же забыл и о ней, и о ее улыбке. И как только она отошла, бросил бумажку с адресом вниз, на пути.

Поезд ушел, осталась пустота. Жить было нечем.

Далеко внизу, на самом дне каменно-

го колодца двора белело запрокинутое лицо матери. И неся ее крик — пронзительный, страшный:

— Боря! Не смей! Боречка! Не делай этого. Не-е-т!

Он стоял, так же как там, на мосту, вцепившись в край чердачной рамы, и перед глазами его была та же леденящая пустота.

Оступаясь и падая на выщербленных ступенях, цепляясь за железные переплеты перил, мать рвалась к черной дыре чердака. Кричать уже не могла, с сорванным хриплым дыханием только вырывалось отрывисто:

— Боречка. Не смей! Боречка!

Спички ломались и гасли в трясущихся пальцах. Короткие вспышки высвечивали балки, изгибы труб, завалы чердачной рухляди. Ее собственную, лихорадочно мечущуюся тень.

Вдруг на фоне полукруглого слухового окна мелькнул силуэт. Мать бросилась к нему, схватила за полу куртки, пытаясь оттащить от края гибельной высоты. Но больше не было сил — и пальцы сына намертво вцепились в оконную раму.

И тогда мать повисла на нем, всей своей небольшой, но живой тяжестью, забиравшись у него на плече:

— Не смей, сыночек. Нельзя! Ты не смеешь меня оставлять. Ты у меня один! Отца взяла война, а ты... Ты все, что у меня есть, слышишь?

Она трясла его, будто пытаясь разбудить:

— Все, что случилось с тобой, — это ужасно, я понимаю. Все разъехались, ты один. Тебе сейчас кажется, что это конец всего. Это не так! Будут еще друзья и девушки. Дело найдешь по душе. С твоим сердцем можно работать. А это — пройдет, ты забудешь. Я мать, я знаю, — и все заглядывала в его тяжелые, невидящие глаза, выискивая там хоть искру живого света.